

Глава 6

ГОСУДАРЬ ПО РОЖДЕНИЮ, ПИСАТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

Современники и потомки считали Ивана IV образованным, или, как тогда говорили, «книжным» человеком: «Муж чудного разсуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело...» И, действительно, государь оставил после себя колоссальный корпус посланий, адресованных частным лицам, коронованным особам, монашеским обителям³⁵⁶. Большинство писем Ивана Васильевича имеет вполне прозаическое назначение. Многие из них относятся к дипломатической переписке или имеют официальный характер иного рода. Однако чаще всего исходившие от Ивана IV «эпистолии» в большей степени являлись литературными произведениями, нежели документами в строгом смысле этого слова. Нередко литературная основа текста никак не согласовывалась с его деловым предназначением и могла вызвать недоумение у современников; однако она всегда привлекала внимание потомков — пламенным слогом, яркостью образов, буйством идей. Некоторые же послания изначально были задуманы как публицистические эссе, и они более прочих отличаются ураганным стилем письма. Царь славился как изрядный полемист и пламенный ритор. Бросаясь в очередную дискуссию, он не жалел красок.

В авторстве некоторых текстов, приписываемых Ивану IV, исследователи сомневались. Жемчужиной литературного наследия царя всегда считались его письма к Андрею

Курбскому. В 1971 году американский ученый Эдвард Кинан объявил переписку государя Ивана Васильевича и князя А.М. Курбского, а также ряд иных сочинений этих двух знаменитейших полемистов XVI столетия подложными. Иначе говоря, изготовленными не ранее 20 — 30-х годов XVII века. Точка зрения Кинана получила популярность, однако впоследствии его «открытия» убедительно «закрыл» Р.Г. Скрынников³⁵⁷. В настоящее время подавляющее большинство ученых считает произведения, истинная атрибуция которых была поставлена под сомнение, действительно принадлежащими перу Ивана IV и беглого аристократа Курбского.

В молодости Иван IV не проявлял особенных литературных талантов. Документы и письма, исходившие от него, до начала 1560-х годов ничем не выделяются из общего объема делопроизводства. И лишь в 50 — 70-х годах XVI столетия его дарование расцвело.

Фактически это произошло одновременно с освобождением царя от традиционной роли и обретением новой, сформулированной самостоятельно, вопреки сценарию цивилизационного «действия», декорациям и желанию большей части «труппы». В значительной степени роль «спускового крючка» сыграло первое послание Курбского (1564), содержащее обвинение в предательстве «амплуа». Любопытно: сам Курбский покинул Россию, сбежав от собственной традиционной роли, поскольку продолжение игры, как полагал князь, грозило ему смертью. По отношению к Великому Спектаклю Русской цивилизации беглый князь был таким же антигероем, как и государь. Он изменил своему царю, навел войска иноплеменников на земли Московского государства, бросил одну семью и насмерть рассорился со второй, заведенной им в эмиграции... И вот князь Андрей Михайлович, соединяя церковнославянскую традицию Православного Востока и светскую философию католического Запада,

строит себе новую идентификацию, отличную от старой, утраченной. Он рисует себя «сенатором», «эпархом», «мужем брани и совета», одним из «сильных во Израиле». Ему для самооправдания нужна особенная этика — этика вольности благородных аристократов, якобы располагающих правом покинуть государя, ежели государь окажется тираном. В XIII—XIV столетиях это право действительно существовало, но строилось оно на незамысловатом обычае дружинных людей перебегать от одного вождя к другому. В XV столетии оно встречает серьезные ограничения, а в XVI и вовсе падает. Но Курбский пытается на основе этой архаики выстроить совершенно новую философскую схему: якобы не желание поискать добычи и удачи под водительством иного князя, но врожденная рыцарственность и христианские добродетели толкают господ «сенаторов» на переезд от одного монарха к другому... Соответственно монарх, от которого бегут, должен был задеть и рыцарское достоинство, и христианскую нравственность. Курбский *вынужден* воздвигать против царя стройную систему аргументов, *вынужден* набивать свою полемическую обойму патронами истинных и мнимых преступлений государя. Если бы он не сумел насыпать под собственными ногами подобного рода островок самооправдания и самоидентификации, кем бы он был? Голью перекатной, наемником на службе у чужого правителя. А в рамках собственной трактовки он выглядит едва ли не странствующим рыцарем, покинувшим край, который подчинился деспотичному кровопийце, мало не бесу... Красиво. Но для Русской цивилизации вся эта красавица — чужая. Курбский прежде всего сбежал, а уж потом все остальное. А раз он сбежал, то превратился в чужака. Актера другой «труппы». И чужачество свое он, по всей видимости, чувствует...³⁵⁸

Государь Иван Васильевич никуда не сбежал, он попытался переделать сам спектакль, по ходу перекроив сцена-

рий, «перебрав» актерский состав и сбросив трупы недовольных в оркестровую яму. Он точно так же выломился из Русской цивилизации, точно так же стал для нее чужим и ему точно так же требуется самоидентификация. Но царь строит ее не на обличении беглеца-Курбского и ему подобных в отдельных преступлениях, а на фантастическом и кошмарном обвинении «эпархов» в глобальном покушении на его монаршее право делать с ними, да и со страной все, что ему угодно, без ограничения³⁵⁹. Подобное право в Русской цивилизации имело религиозно-нравственный, а не политический ограничитель, но пережив «Шуйское царство», казанские неприятности 1552-го, кризис 1553-го и общегосударственную аварию 1564 года, царь этот ограничитель видеть не желает. Он помнит только ограничитель № 2 — бунт, беснование толп, тело родственника, разорванного злой чернью. Гневается на возможность очередного бунта, опасается ее, и в то же время провоцирует простонародье на расправу со своими врагами зимой 1564—1565 годов. Игра очень опасная. Обосновать ее государь может только одним способом: даровав себе право нарушать любой запрет и любую традицию... Он неоднократно пишет о себе как о Божьем слуге, наделяет монаршую особу статусом наивысшей близости к Господу, т.е. статусом полной вседозволенности, обретаемой ради решения высших, самим Богом поставленных задач. Эти задачи касаются защиты и утверждения православия. Окончательную их формулировку царь оставляет за собой. Что же касается подданных, то им, как рабам государя, следует «рабская содержать повеления»...³⁶⁰ Монарх у Ивана Васильевича выступает как хозяин «грозы» в державе, но государь сторонится обычных христианских добродетелей — смирения, любви, соблюдения Заповедей, которые едины для всех без исключения. Ему всё хочется быть в русской христианской общине на особицу, отдельно ото всех.

Оба — нарушители, оба для Русской цивилизации анти-герои. И оба соответственно в литературной реальности также носители «новин». Вот что пишет о них один из лучших современных знатоков русской литературы XVI века: «По своему складу ума и темпераменту Курбский принадлежал к просвещенным ортодоксам... Князь Андрей изображал себя книжником принципиально иного уровня и других творческих установок, чем Грозный. Он требовал соблюдать законы грамматики, риторики, диалектики, умно и зло критиковал монарха за невежество, просторечие, напыщенное многословие, отсутствие чувства меры. Его обвинения составляют хорошо продуманную систему, призванную опорочить оппонента и вместе с тем показать ученость критика... Уязвленное авторское самолюбие заставляло Грозного отражать нападки не теоретическими аргументами, а неожиданными выходками и выпадами. Царь-лицедей допускал, что в его сочинениях не все гладко, но причину видел в «злобесной собацкой измене» придворных или «бестолковости оппонента»³⁶¹. В.В. Калугин видит в Курбском писателя-интеллектуала, но вместе с тем считает, что князь порой совершает общие с Иваном IV нарушения литературного этикета. Таким образом, этот средневековый публицист лишь формально может считаться «ортодоксом». Такова его маска. На пике полемики он по смыслу своих высказываний и по материалу, на который они опираются, далек от ортодоксии. Но по форме — далеко не новатор.

Совсем другое дело Иван IV. Государь «...совершенно иначе, чем Курбский, ощущал себя писателем... Он взялся за перо не из просто любви к искусству. Иван IV стал писать по праву и долгу монарха учить вверенный ему Богом народ... В роли “отца Отечества” и защитника правой веры царь сочинял послания, давал наказные памяти, произносил пылкие речи, участвовал в ученых диспутах, обличал чуждые православию догматы, переписывал историю»³⁶².

Это тоже маска. Русский литературный этикет XVI века очень строг. Жанры канонически чисты, риторика требует изощренного искусства, «плетение словес» — необыкновенного терпения и филигранной точности. Тут все должно быть на своем месте, там, где ему назначено быть. Один тип лексики не должен соприкасаться с другим. Словоупотребление ритуализировано, впрочем, как и выражение эмоций. Определенные цитаты из Священного Писания и святоотеческой литературы предназначены для определенных тем. Литература сродни государству: вся проникается духом державной величественности. И вот в роли «отца Отечества» царь-писатель разносит всю эту монументальную систему в щепы. Нарушает все табу. Говорит так, как никто не говорит. Вчистую выламывается из системы жанров...

Он соединяет «высокую» церковную лексику и низкую, вплоть до простонародных словечек и площадной брани. Из него хлещут потоки эмоций; эти потоки уничтожают композицию текста, превращая его в хаотичное месиво из цитат, жалоб на нерадивых подданных — изменников и корыстолюбцев, манифестацию безграничности монаршей власти, гневных нападок, меланхоличных зарисовок прежней жизни, попыток истинного покаяния и ядовитых стрел покаяния ложного, саркастического. Царь легко использует элементы одних жанров для нарочитого, символического разрушения других, занимается пародированием, мешает высокое и низкое, равняет государственную измену и худые подарки своей родне. В его текстах клокочет гнев, исходит обжигающим холодом презрение, полыхает жгучая ирония.

Язык его посланий проще, демократичнее монументального стиля того времени, он тяготеет к более поздним временам, т.е. прежде всего литературе, родившейся в результате Смуты, и отчасти предвосхищает ее. Манера письма — афористическая и в какой-то степени импрессионистская. Сила отдельного выражения, впечатления, яркой зарисовки

абсолютно преобладает над логикой всего текста. Особенно хорошо это видно во 2-м послании Курбскому (1577): начав с покаянных словес, Иван Васильевич быстро переходит к обвинениям и выдает пассаж, совершенно не связанный с первыми строками письма, смиренными и спокойными: «Вспомни и рассуди, как оскорбительно для меня вы разбирали дело Сицкого с Прозоровским и допрашивали, словно злодея!.. И что такое сами Прозоровские рядом с нами?.. Божиим милосердием, милостью Пречистой Богородицы и молитвой великих чудотворцев, и милостью святого Сергия у моего батюшки и с батюшкиного благословения у меня была не одна сотня таких, как Прозоровский!»³⁶³ Сам текст обычно представляет собой подобие театральной постановки, в которой предусмотрено место для импровизации. Так, послание в Кирилло-Белозерский монастырь (1573) Иван Васильевич начинает в жанре челобитья, примешивая сюда покаянные мольбы: «Увы мне, грешному! Горе мне, окаянному! Ох мне, скверному!.. подобает вам, нашим государям, нас, заблудившихся во тьме гордости и находящихся в смертной обители обманчивого тщеславия, чревоугодия и невоздержания, просвещать. А я, пес смердящий, кого могу учить и чему наставлять и чем просветить? Сам вечно в пьянстве, блуде, прелюбодеянии, скверне, убийствах, грабежах, воровстве и ненависти, во всяком злодействе... Ради Бога, святые и преблаженные отцы, не принуждайте меня, грешного и скверного, плакаться вам о своих грехах среди лютых треволнений этого обманчивого и преходящего мира»³⁶⁴. Чуть погодя царь принимается жестоко бичевать братию за отступления от устава и послабления в иноческой жизни, предоставленные монахам из числа бывших аристократов: «...бояре, придя к вам, ввели свои распутные уставы: выходит, что не они у вас постриглись, а вы у них постриглись, не вы им учителя и законодатели, а они вам учителя и законодатели!»³⁶⁵ Далее следует уже крепкая брань и угрозы, даже намеки на измену. Деятелей, вы-

зававших особый гнев, царь честит званьями «бесова сына», «дурака и упыря», «злобесного пса». А заканчивает мило и благостно: «Да пребудут с вами и с нами милость Бога мира и Богородицы, и молитвы чудотворца Кирилла. Аминь. А мы вам, мои господа и отцы, челом бьем до земли»³⁶⁶.

В сущности, Ивана IV как литератора следовало было бы назвать первым русским постмодернистом. Он был невежей среди книжников того времени и позволял себе непозволительное в рамках литературного этикета XVI столетия. Но в то же время Иван Васильевич может считаться великим писателем в современном значении этого слова. Мутный поток его сознания свободно выливался на бумагу, в полной мере передавая мощь внутренних штормов этого человека³⁶⁷.

Гневная стихия его посланий захватывает, волнует, порой пробуждает ответный гнев. Вот образец ярости царской, оформленной тонко и цветисто в 1-м послании Курбскому (1564): «Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единокродную душу? Чем ты заменишь ее в день Страшного суда? Даже если ты приобретешь весь мир, смерть напоследок все равно похитит тебя! Зачем ради тела душой пожертвовал, если утратил смерть, поверив лживым словам своих бесами наученных друзей и советчиков? И повсюду, как бесы во всем мире, так и изволившие стать вашими друзьями и слугами, отрекшись от нас, нарушив крестное целование, подражая бесам, раскинули против нас различные сети и, по обычаю бесов, всячески следят за нами, за каждым словом и шагом, принимая нас за бесплотных, и посему возводят на нас многочисленные поклепы и оскорбления, приносят их к вам и позорят нас на весь мир. Вы же за эти злодеяния раздаете им многие награды нашей же землей и казной, заблуждаясь, считаете их слугами, и, наполнившись этих бесовских слухов, вы, словно смертоносная ехидна, разъярившись на меня и душу свою погубив, поднялись на церковное разорение. Не полагай, что это

справедливо — разъярившись на человека, выступить против Бога... Или мнишь, окаянный, что убережешься? Нет уж!»³⁶⁸ Ткань грозненских текстов — сплошной соблазн, то изысканный, то грубый. Эмоции первого нашего царя, отгремевшие четыреста двадцать лет назад, способны и сейчас взять в плен иную слабую волю...

Это был по-настоящему талантливый литератор. В иных обстоятельствах уместно было бы благодарить Господа за явление в нашей земле столь блистательного пера. Беда в одном: стране требовался по-настоящему талантливый государь. А это разные профессии...